





*ИВАН ШМЕЛЁВ*

# БОГОМОЛЪЕ

---

БОГОМОЛЪЕ

СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

Москва

# БОГОМОЛЬЕ



Священной памяти короля Югославии  
Александра I благоговейно посвящает.

*Автор*

О вы, напоминающие о Господе, —  
не умолкайте!

*Исайи, гл. 62, ст. 6*

## ЦАРСКИЙ ЗОЛОТОЙ

Петровки, самый разгар работ, — и отец целый день на стройках. Приказчик Василь Василич и не ночует дома, а все в артелях. Горкин свое уже отслужил — «на покое», — и его тревожат только в особых случаях, когда требуется свой глаз. Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку — можно и прогореть. Спрашиваю у Горкина: «Это что же такое — прогореть?»

— А вот скинут последнюю рубаху — вот те и прогорел! Как прогорают-то... очень просто.

А с народом совсем беда: к покосу бегут домой, в деревню, и самые-то золотые руки. Отец страшно озабочен, спешит-спешит, летний его пиджак весь мокрый, пошли жары, Кавказка все ноги отмотала по постройкам, с утра до вечера не расседлана. Слышишь — отец кричит:

— Полуторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка... рядились, черти, — обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные... Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку... втрое ведь у меня получают, чем со своих покосов!

— Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними... — разводит беспомощно руками Василь Василич, заметно похудевший, — ничего с ими не поделаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а... гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу — уж тут никакими калачами не удержать, бегут. Воротятся — приналягут, а покуда сбродных попринайдем. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь-покойны-с, уж догляжу. То же говорит и Горкин, — а он все знает: покос — дело душевное, нельзя иначе, со спокон веку так; на травке поотдохнут — нагонят.

Ранним утром, солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарaban. Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин, чего-то ему надо.

— Что тебе еще?.. — спрашивает отец тревожно, раздраженно, — какой еще незалад?

— Да все, слава богу, ничего. А вот, хочу вот к Сергию Преподобному сходить помолиться, по обещаю... взад-назад.

Отец бьет вожжой Чалого и дергает на себя. Чалый взбрыкивает и крепко сечет по камню.

— Ты еще... с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило? помрешь — до Успенья погодишь?..

Отец замахивается вожжой — вот-вот укатит.

— Это не пустяки, к Преподобному сходить помолиться... — говорит Горкин с укоризной, выпрастывая запутавшийся в вожже хвост Чалому. — Теплую бы

пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожди... уж нескладно итить-то будет. Сколько вот годов все собираюсь...

— А я тебя держу? Поезжай по машине, в два дня управишься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а... как я тут без тебя? Да еще, не дай Бог, Косой запынствует?..

— Господь милостив, не запынствует... он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. И годы мои такие, и...

— А, помирать собрался?

— Помирать не помирать, это уж Божья воля, а... как говорится, делов-то пуды, а она — туды!

— Как? кто?.. Куды — туды?.. — спрашивает с раздражением отец, замахиваясь вожжой.

— Известно — кто. Она ждать не станет — дела ли, не дела ли, — а все покончит.

Отец смотрит на Горкина, на распахнутые ворота, которые придерживает дворник, прикусывает усы.

— Чу-дак... — говорит он негромко, будто на Чалого, машет рукой чему-то и выезжает шагом на улицу.

Горкин идет расстроенный, кричит на меня в сердцах: «Тебе говорю, отстань ты от меня, ради Христа!» Но я не могу отстать. Он идет под навес, где работают столяры, отшвыривает ногой стружки и чурбачки и опять кричит на меня: «Ну, чего ты пристал?..» Кричит и на столяров чего-то и уходит к себе в каморку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окошко, сажусь снаружи на облицовку и спрашиваю все то же: возьмет ли меня с собой. Он разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка — «Троице-Сергиева Лавра», лопнувшая по щелкам и полинявшая. Разбирается и ворчит:

— Не-эт, меня не удержите... к Серги-Троице я уйду, к Преподобному... уйду. Все я да я... и без меня

управитесь. И Ондрюшка меня заступит, и Степан справится... по филенкам-то приглядеть, велико дело! А по подрядам сновать — прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться... коли дал мне слово-замок — из уважения соблюдет. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам... Не-эт, меня не удержите.

— А меня-то... обещался ты, а?.. — спрашиваю я его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. — А меня-то, пустят меня с тобой, а?..

Он даже и не глядит на меня, все разбирается.

— Пустят тебя, не пустят... — это не мое дело, а я все равно уйду. Не-эт, не удержите... всех, брат, делов не переделаешь, не-эт... им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, все собираюсь, собираюсь... Царица Небесная как меня сохранила, — посылает Горкин на темную иконку, которую я знаю, — я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша... сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех...

— А за какой грех, скажи... — упрасиваю я Горкина, но он не слушает.

Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок, заплечный.

— Это вот возьму и это возьму... две сменки, да... И еще рубаху, расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики.. — пошумливает он мешочком, как сахарком, — с чайком попить — пососать, дорога-то дальная. Тут, стало быть, у меня чай-сахар... — сует он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыб-

кой, — а лимончик уж на ходу прихвачу, да... ножичек, поминанье...сует он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый Ангел, а внизу, в красных языках пламени, зеленые нечистые духи с вилами, — а это вот, за кого просвирки вынуть, леестрик... все по череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится... от Москвы, скажу, поклончик-гостинчик. Баночек возьму на дорожку...

У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и все укладывает в мешок. Что бы ему сказать такое?..

— Горкин... а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?.. — спрашиваю я сквозь слезы, хотя все знаю.

Он поднимает голову и говорит нестрого:

— Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила... я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком... дешевые у тебя слезы. Ну, ломали мы дом на Пресне... ну,шел я на чердаке старую иконку, ту вон... Ну, сошел я с чердака, стою на втором ярусу... — дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел... — ка-ак загремит все... ни-чего уж не помню, взвило меня в пыль!.. Очнулся в самом низу, в бревнах, в досках, все покорежено... а над самой над головой у меня — здоровенная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. — вот какая. А робята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А на руке у меня — Царица Небесная! Как держал, так и... чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка... вот ты чего подумай! А это стену неладно покачнули — балки из гнезд-то и вышли, концы-то у них сгнили... как ухнут, так все и проло-



мили, накаты все. Два яруса летел, с хламом... вот ты чего подумай!

Эту иконку — я знаю — Горкин хочет положить с собой в гроб, — душе чтобы во спасение. И все я знаю в его каморке: и картинку Страшного суда на стенке, с геенной огненной, и «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры», и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, медный, литой, очень старинный крест с «адамовой главой», страшной... и пасочницу Мартына-плотника, вырезанную одним топориком. Над деревянной кроватью, с подпалинами от свечки, как жгли клопов, стоят на полочке, к образам, совсем уже серые от пыли, просвирки из Иерусалима-града и с Афона, принесенные ему добрыми людьми, и пузыречки с напетым маслицем, с вылитыми на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче.

— А ты мне про Мартына все обещался... топорик-то у тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? скажи-и, Горкин!..

Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки.

— Ну, чего ты расстроился, а? что ухожу-то... На доброе дело ухожу, никак нельзя. Вырастешь — поймешь. Самое душевное это дело, на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милок, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровье бы те Господь дал. Ну, куда тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти... по машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался... я тебе не обещался. Ну, пошутил, может...

— Обещался ты, обещался... тебя Бог накажет! вот посмотри, тебя Бог накажет!.. — кричу я ему и плачу и даже грожу пальцем.

Он смеется, прихватывает меня за плечи, хочет защекотать.

— Ну что ты какой настойный, самондравный! Ну, ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернет, что и покатаем с тобой по дорожке по столбовой... а что ты думаешь! Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь... а вот слушай. Чего сам он мне сказывал, а потом на моих глазах все было. И все суцая правда.

— Повел его отец в Москву на работу... — покивает Горкин мягко, как все наши плотники, володимирцы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит, — плотники они были, как и я вот, с нашей стороны. Всем нам одна дорожка, на Сергиев Посад. К Преподобному зашли... чугулки тогда и помину не было. Ну, зашли, все честь честью... помолились-приложились, недельку Преподобному пороботали топориком, на монастырь, да... пошли к Черниговской, неподалечку, старец там проживал — спасался. Нонче отец Варнава там народ утешает — басловляет, а то до него был, тоже хороший такой, прозорливец. Вот тот старец благословил их на хорошую работку и говорит пареньку, Мартыну-то: «Будет тебе талан от Бога, только не проступись!» Значит — правильно живи смотри. И еще ему так сказал: «Ко мне-то побывай когда».

Роботали они хорошо, удачливо, талан у Мартына великой стал, такой глаз верный, рука надежная... лучшего плотника и не видал я. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филенкам чистяга был, лучше меня, пожалуй. Да уж я те говорю — лучше меня, значит — лучше, ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и стал в людях; сирота. К нам-то,

к дедушке твоему покойному, Ивану Ивановичу, Царство Небесное, он много после пристал — порядился, а все по разным ходил — не уживался. Ну, вот слушай. Талан ему был от Бога... а он, темный-то... — понимаешь, кто? — свое ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли. Ну, пришел к нам работать, я его маленько поудержал, поразговорил душевно, — ровесники мы с ним были. Разговорились мы с ним, про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл, сколько годов прошло. Ну, побывал он, ан — старец-то тот и помер уж, годов десять уж. Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал... совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошел, а, прямо тебе сказать, в кабак пошел! И пришел он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть... босой, топорик только при нем. Он без того топорика не мог быть. Топорик тот от старца благословен... вон он самый, висит-то у меня, память это от него мне, отказан. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него — не скажу. При дедушке твоём было. Хотел Иван Иванович его не принимать, а прабабушка твоя Устинья вышла с лестовкой... молилась она все, правильная была по вере... и говорит: «Возьми, Ваня, грешника, приюти... его Господь к нам послал».

Ну, взял. А она Мартына лестовкой поучила для виду, будто за наказание. Он три года и в рот не брал. Что получит — к ней принесет, за образа клала. Много накопил. Подошло ему опять пить, она ему денег не дает. Как разживется — все и пропьет. Стало его бесовать, мы его запирали. А то убить мог. Топор держит, не подступись. Боялся — топор у него покрадут, талан его пропадет. Раз в три года у него болезнь такая напала. Запрет его — он зубами скрипит, будто щепу де-

рет, страшно глядеть. Силищи был невиданной... балки один носил, росту — саженный был. Боимся — ну, с топором убежит! А бабушка Устинья войдет к нему, погрозится лестовкой, скажет: «Мартынушка, отдай топорик, я его схороню!» — он ей покорно в руки, вот как.

Накопил денег, дом хороший в деревне себе построил, сестра у него жила с племянниками. А сам вдовый был, бездетный. Ну, жил и жил, с перемогами. Тройное получал! А теперь слушай про его будто грех...

Годов шесть тому было. Роботали мы по храму Христа Спасителя, от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей роботки там много было... помосты там, леса ставили, переводы-подводы, то-се... обшивочки, и под кумполом много было всякого подмостья. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В семьдесят в третьем, что ли, годе, в августе месяце, тепло еще было. Ну, все подрядчики, по такому случаю, артели выставили, показаться государю, царю-освободителю, Лександре Николаичу нашему. Приодели робят в чистое во все. И мы с другими, большая наша была артель, видный такой народ... худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были, каши не поедали — отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с провожатыми, со всеми генералами и князьями. И наш, стало быть, Владимир Ондреич, князь Долгоруков, с ними, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал. И наш еще Лександра Лександрыч Козлов, самый обер-польцмейстер, бравый такой, дли-инные усы, хвостами, хороший человек, зря никого не обижал. Ну, которые начальство при постройке — показывают робят, рабочий народ. Государь поздоровался, покивал, да... сияние от него такое, всякие медали... «Спасибо, — говорит, молодцы».

Ну, «ура» покричали, хорошо. К нам подходит. А Мартын первый с краю стоял, высокий, в розовой рубахе новой, борода седая, по сех пор, хороший таковой ликом, благочестивый. Государь и приостановился, пондравился ему, стало быть, наш Мартын. Хорош, говорит, старик... самый русской! А Козлов-то князю Долгорукову и доложи: «Может государю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет». А он, стало быть, про Мартына знал. Роботали мы в доме генерала-губернатора, на Тверской, против каланчи, и Мартын князю-то секрет свой и доказал. А по тому секрету звали Мартына так: «Мартын, покажи аршин!» А вот слушай. Вот князь и скажи государю, что так, мол, и так, может удивить. Папашенька перепугался за Мартына, и все-то мы забоялись — а ну прощрафится! А уж слух про него государю донесен, не шутки шутить. Вызывают, стало быть, Мартына. Государь ему и говорит, ничего, ласково: «Покажи нам свой секрет». — «Могу, — говорит, ваше царское величество... — Мартын-то, — дозвоьте мне реечку». И не боится. Ну, дали ему реечку. «Извольте проверить, — говорит, — никаких помет нету». Генералы проверили — нет помет. Ну, положил он реечку ту, гладенькую, в полвершочка шириной, на доски, топорик свой взял. Все его обступили, и государь над ним встал... Мартын и говорит: «Только бы мне никто не помещал, под руку не смотрел... рука бы не заробела».

Велел государь маленько пораздаться, не наседать. Перекрестился Мартын, на руки поплевал, на реечку пригляделся, не дотрогнулся, ни-ни... а только так вот над ней пядью помотал-помотал, привесился... — р-раз топориком! — мету и положил, отсек. «Извольте, — говорит, — смерить, ваше величество».

Смерили аршинчиком клейменым — как влитой! Государь даже плечиками вскинул. Погодите, — гово-

рит Мартын-то наш. Провел опять пядью над обрезком, — раз, раз, раз! — четыре четверти проложил-пометил. Смерили — ни на волосок прошибки! И вершочки, говорит, могу. И проложил. Могу, говорит, и до восьмушек. Государь взял аршинчик его, подержал время... «Отнесите, говорит, — ко мне в покоисю диковинку и запишите в царскую мою книгу беспрременно!» Похвалил Мартына и дал ему из кармана в брюках собственный золотой! Мартын тут его и поцеловал, золотой тот. Ну, тут ему наклали князя и генералы, кто целковый, кто трешну, кто четвертак... — попиروвали мы. А Мартын золотой тот царский под икону положил, навеки.

Ну, хорошо. Год не пил. И опять на него нашло. Ну, мы от него все поотобрали, а его заперли. Ночью он таки сбег. С месяц пропадал — пришел. Полез я под его образа глядеть, — золотого-то царского и нет, пропил! Стали мы его корить: «Царскую милость пропил!» Он божится: не может того быть! Не помнит: пьяный, понятно, был. Пропил и пропил. С того срока он и пить кончил. Станем его дражнить: «Царский золотой пропил, доказал свой аршин!» Он прямо побелеет, как не в себе. «Креста не могу пропить, так и против царского дару не проступлюсь!» Помнил, чего ему старец наказывал — не проступись! А вышло-то — простудился будто. Ему не верят, а он на своем стоит. Грех какой! Ладно. Долго все тебе сказывать, другой раз много расскажу. И вот простудился он на ердани, закупался с немцем с одним, — я потом тебе расскажу<sup>1</sup>. Три месяца болел. На Великую Субботу мне и шепчет: «Помру, Миша... старец-то тот уж позвал меня... — что ж, говорит, Мартынушка, не побываешь?» Во сне ему, стало быть, привиделся. «Дай-ка

<sup>1</sup> Рассказ «Крещение», из кн. «Лето Господне» (Примеч. И. С. Шмелева.)